



## Глава 1

### ЗАВТРА

- Я старая и толстая...
- Ты царственная и роскошная.
- Нет, я старая и толстая.
- Ты дура и дылда. Я тобой надышаться не могу!

Он поднялся с кровати, подобрал подушку с пёстро́го половика, закинул её в глубокое кресло, разлаписто и кудряво занявшее целый угол. Походил босиком по приятному теплу деревянного пола, будто проверяя собственную устойчивость, и подошёл к окну... Сияющий поплавок луны танцевал в стремительной дымке облаков; полчища кузнечиков дружно выжигали серебряную чернь деревенской ночи; комната плыла сквозь перистые тени медленно, как в волшебном фонаре, — тюлевая занавеска шевелила плавниками.

Он потоптался у стола, включил настольную лампу и залюбовался — эх, и лампа же: брон-

6 зовый сатир держит в поднятой руке увесистый гриб густого жёлтого света — мёд текучий, золотой пчелиный рай.

И чего только не найдёшь на этом столе! Под приподнятым копытом сатира лежит серебряная гильотинка для сигар, с двойным лезвием (кто, интересно, курит здесь сигары?); уютно уселись друг в дружку две кофейные фарфоровые чашки, в верхней — сохлая бурая лужица. А чернильный прибор какой: чёрное дерево, золочёная эмаль, всё до блеска начищено, и часы, и обе чернильницы. Да на черта ж человеку ныне письменный прибор?! И вдруг вспомнил: такой же обаятельный *кавардак* был в мастерской у дяди Пети, на гигантской плоскости его рабочего стола. А приглядишься — всё под рукой, и всё необходимо, всё на своих местах. Так и тут: каждый предмет кажется уместным, и поставлен-положен в порядке, потребном именно хозяйке. И огромное окно, в котором *мчатся тучи, вьются тучи*, — и оно стоит в правильном месте: напротив кровати, чтобы, среди ночи проснувшись, увидеть, как скачет луна в бородатой улыбке разбойного неба.

Но главное, плыл по комнате, утягивая к нутряному теплу расхристанной постели, запах любимой, аромат её разгорячённого лона, — потерянная и обретённая мечта, сны, страсть, тайная суть всей его почти минувшей жизни. Всё, что обрушилось на него часа три назад, выдернуло из годами накопленной хандры, из обрыдлых скитаний; что контузило, швырнув лицом,

дрожащими губами в воронку взрыва — в благоуханную тишину её незнакомой полной груди, белой шеи, длинных сильных ног, в тисках которых минут пять назад блаженно содрогалось его тело.

— А этот шеф-повар на все времена, — осторожно заговорил он, покручивая и наклоняя козлоногого так и сяк, отчего жёлтая патока света лениво перетекала со стола на стену, доплёскивала до кровати, золотила голое плечо Надежды, огнисто вспыхивая в волосах. — Этот велеречивый Цукат... он тебе — кто?

— Он мне — душевный раздолбай.

Хороший правильный ответ. Приструнить чудовище. В незапамятные времена он бы кинулся в ванную проверять — сколько зубных щёток стоит в стакане.

«Начинается, — думала она, мысленно усмехаясь, с томительным потягом перекатываясь на бок и уютно подминая подушку под локоть. — Полюбуйтесь на него: уже прощупывает границы вернувшихся владений. Неисправим!»

— ...и мы же договорились: всё — завтра...

— Завтра, завтра, — поспешно согласился он. Сатир мигнул, погас и вновь озарил напряжённое и уже страдающее лицо, которое совсем недавно восходило и восходило над ней в изнеможении расплавленного счастья.

Они и впрямь договорились.

Едва выпроставшись из первой то ли сшибки, то ли погони друг за другом, то ли совместного

8 улепётывания по тропинке длиною в жизнь; едва, откинувшись на подушку, ещё задыхаясь, он простонал:

— Годами... го-да-ми!..

Надежда, прикрыв ладонью ему губы, строго сказала:

— Завтра!

Сейчас, подперев голову рукой, она молча следила за тем, как со сдержанной опаской он осваивается в комнате, *в её спальне*, в её любимом логове, — ещё робея, ещё не понимая своего места: гость? хозяин? бывший муж? новый любовник? — как сторожко двигаются ноги его, плечи, спина... Смотрела и думала: надо же, как жизнь сохранила это поджарое тело, даже досадно. И чего он вскочил, будто кто за ним гонится, и кого высматривает в окне, в тёмной деревенской глуши? Нет, приказала себе, не думать, не задавать вопросов. Всё — завтра...

Последние часы она и сама переплавилась в чьё-то молодое-пытливое тело и жадно плыла, как в отрочестве — в реке или в бассейне, с удивлённой радостью ощущая гибкую хватку потаённых мышц, очнувшихся от многолетней спячки, и сладость узнавания его естества, его самозабвенной яростной нежности. Одного лишь боялась: вот закончится ночь, они увидят морщинки друг друга и осознают всю тщету, всю запоздалость этой встречи; навалится вновь одиночья тоска, протяжённая пытка окаянной разлуки, трусоватая гниль его давнего предательства, — вся эта горечь отравленной пустоты.

Тремя часами ранее, едва Изюм деликатно и огорчённо притворил за собой дверь веранды, Аристарх, с грохотом отшвырнув с дороги стул, молча ринулся на неё, рванул к себе, сграбастал!

Она пыталась отпрянуть, вырваться... Шарила онемевшими руками по его спине, упиралась ладонями в грудь. Горло дрожало, не в силах выдавить ни звука:

— ...нет... я не... н-не смей! — всё это полузадушенным писком.

— Ну, хватит! — рявкнул он, обоими кулаками впечатывая её в себя так, что сквозь свитер она чувствовала, как гулко-дробно колотится его сердце. — Мало тебе, что ты с нами сделала?!

Ткнулся носом, губами в её шею, за ухо, шумно и протяжно вдохнул, как ныряльщик перед погружением в глубину. И пока они стояли так на пороге кухни, в радужной арке света от лампы — сцепившись, сплетясь в странном разрывающем объятии, — поток жалких суетных мыслей пронёсся в её голове, защищая сознание от того подлинного, невероятного, что происходило в эти вот минуты: «Душ не успела с дороги... ужас... потная мерзкая старуха. А этого изгнать беспощадно! Всю жизнь... ни капли тепла...»

Ноги дрожали, как после долгой изнурительной болезни.

Аристарх вновь глубоко втянул в себя воздух:

— Наконец-то! Четверти века не прошло... — отшатнулся, обхватил ладонями её лицо, обежал судорожными пальцами, обыскал синими волчьими глазами:

10 — Хрен ты теперь от меня сбежишь, осужденная! Я был тюремным врачом, да и сам стал отбросом общества. Я просто тебя убью!

«Главное, до постели не допустить...» — думала Надежда в панике, ужасно ослабев, как-то внутренне обмякнув: её тянуло бессильным кулём свалиться на пол, в глотке застрял протестующий вопль, голова плыла в оранжевом пожаре — как на Острове, когда он напоил её, пятнадцатилетнюю, дорогим Бронькиным рислингом. Мысли вскачь неслись, сталкиваясь и топча одна другую: «Не допустить, чтоб увидел толстую задницу, сиськи эти пожилые... Нет, никогда, ни за что!»

...Минут через десять они оказались в её спальне, как-то умудрившись доковылять туда по тёмной лестнице, по-прежнему обречённо сплетясь, поминутно заваливаясь на перила, обморочно нащупывая губами друг друга. И уже совсем загадочным образом исхитрились одолеть пуговицы-петли, рукава, штанины и «молнии», ежесекундно бросая это занятие, чтобы в темноте вновь нащупать, схватить и не отпустить... — будто неведомая сила могла растащить их по далёким краинам вселенной.

— Молчать, это медосмотр, — сказал он, освобождая её грудь от лямок-бретелек и прочих ненужных материй. — Вряд ли сегодня доктор сгодится на нечто большее, от страха.

И она засмеялась и заплакала разом: с ума же сойти, двадцать пять лет! — и оба, неловко рухнув на кровать, закатились к стенке, где затихли в медленном, нежном, сладком ожоге слившихся тел.

...Птица заливалась где-то рядом, в ближней тёмной кроне за карнизом — неистово, пронзительно, острыми трелями просверливая темноту. Аристарх и сам не заметил, как отворил окно — видимо, когда в очередной раз его сорвало с постели. Его нещадно трепало, а время от времени даже подбрасывало, и тогда он пускался рыскать по комнате, пытаясь унять трепыхание в горле странного обжигающего чувства: счастья и паники.

Хотя самое первое, самое пугающее было позади.

Смешно, что он боялся, как пацан, — матёрый самец в расцвете мужской охотной силы. Да нет, думал, не смешно совсем. И никогда бы не поверил, что с первого прикосновения их разлучённые тела, позабывшие друг друга, смогут мгновенно поймать и повести чуткий любовный контрапункт оборванного давным-давно, древнего, как мир, дуэта. Это было похоже на отрепетированный номер, нет, на чудо: так с лёту подхватывают обронённую мелодию талантливые джазисты; так, не переставая болтать после трёхнедельной разлуки, бездумно сплетаются в собственническом объятии многолетние супруги.

Но жизнь была прожита, и прожита без неё; и в отличие от девичьего образа, за минувшие годы истончённого до прозрачности в воспоминаниях и снах, там, за спиной его, на истерзанной кровати лежала зрелая сильная женщина, его прекрасная женщина, дарованная ему детством,



12 юностью, судьбой... и наотмашь, чудовищно отнятая.

Сознавать это было невыносимо, гораздо больнее, чем просто жить без неё изо дня в день, из года в год, — как он и жил все эти четверть века.

Он вскакивал, метался, замирал перед окном и возвращался к ней, до изнеможения стараясь вновь и вновь слиться до донышка, очередным объятием пытаясь навсегда заполнить все пустотелые дни их бездонной разлуки... Он уже чувствовал, как она устала, и понимал, что надо бы отпустить её в сон.

Но невозможно было представить, что он опять останется один, что она опять исчезнет — хотя бы и на час. Ночь раздавалась и раздваивалась, струилась, убегала по чёрным горбам шепотливых крон; стрекот кузнечиков давно рассеялся по траве и кустам, зато кто-то залихватский тренькал и пыхал тлеющими угольками неслышно подступающей зари...

— Это что за...

— ...поёт, в смысле? Может, дрозд...

— ...нет, соловей, конечно... Дрозд в конце полочет так, а этот... Слышь, как сверлит и перехватывает... В Вязниках, помнишь, они и на прудах, и в городе...

— ...и в зарослях жимолости-бузины... а уж в садах!

— Мама знала всех птиц...

— ...у тебя рука, наверное, занемела...

— Нет, не шевелись! Прижмись ещё больней.

Двадцать пять лет...

— ...молчи!

— ...двадцать пять лет мы могли вот так, обнявшись, из ночи в ночь, из года в год! Что ты наделала с нашей жизнью, мерзавка!

— Перестань! Ну, перестань, умоляю... лучше про маму.

— ...мама очень птичьим человеком была. Знала все их имена и кто как поёт... Когда мы с ней шли куда-то, по пути показывала и объясняла. Я всегда удивлялся: «Откуда ты знаешь?» Она лишь улыбалась. А потом, годы спустя, понял, когда узнал...

— Узнал — что?

— Её бабушка была известным фенологом... орнитологом? — ну птичьим профессором.

— Это которая — с маленькой мамой по поездам, и руки примёрзли к поручням, и умерла в Юже на станции?

— ...да-да. Ты всё помнишь, отличница. Боже, что ты натворила с нами, что ты натворила, горе какое...

— ...а соловьёв ходили слушать на пруды. На первый и на третий. Там островок питомника тянулся в сторону Болымотихи, смородинный такой островок, одуряюще пахло. Ты стал... таким...

— ...м-м-м?

— ...другим, новым. Тело... повадка иная...

— ...Я старый хрен. А ты разве помнишь меня — прежнего?

— Я помню всё, каждый раз...

— ...ты вспоминала...

— ...каждую ночь. Что это за шрам тут?

14 — ...ерунда, заключённый пырнул осколком лампы. Не убирай руки, да, так! Ещё... не торопись... господи... господи...

Ей подумалось: а я ведь и забыла, как это вообще бывает, как это... ошеломительно. Но то была другая любовь: властная, неторопливая, взрослая. Оба они изменились, но сквозь биение пульса, сквозь кожу давно разлучённых тел с первого прикосновения жадно, неукротимо пробивалась та, предначертанная тяга друг к другу, та *положенность* друг другу, которую не уберегли они и вдруг вновь обрели — бог знает где, в какой-то деревне, посреди вселенной, посреди — да и не посреди уже, — остатней жизни...

— А ты знал, что мы встретимся?

— Никогда не сомневался...

— ...я с утра чего-то ждала, психовала... даже с работы ушла...

— ...и чего, думаю, меня тянет к этому балаболу в бригаде, на что он мне? Вечно какую-то хрень несёт...

— ...а когда возвращалась, чудом не столкнулась с лошастью. Белая, смиренная такая кобыла, на ней — парнишка. У меня чуть сердце горлом не выскочило... А он, дурачок, совсем не испугался, представляешь? — к окну склонился и говорит, улыбаясь: «Ты что, совсем меня не ждала?»

— ...думаю, какого чёрта согласился к нему ехать, деревня какая-то, опять его болтовня... И вдруг он говорит: «Оркестрион!» — а у меня сердце: «Бух!» И говорит: «Соседка эксклюзивная...»

— ...а часов с шести вечера уже просто знала, — ждала. Потому так разозлилась, когда Изюм со своим: «Эй, хозяйка!» — появился...

— ...и ударило уже на ступенях веранды: сначала — запах, как в доме на Киселёва, потом — голос, и, как в снах все эти годы, — огненная вспышка волос! Дальше не помню...

Где-то звали рассвет петухи, по окрестным дворам разноголосо брехали собаки, а с опушки ближнего леса то и дело задышливо ухал филин.

Ночь тронулась в обратный путь, и небо повисло над крышами деревни исполинским куском ветчины, с розовеющими прослойками зари. Слепая луна застряла в нем алюминиевой крышкой от пива.

Он подошёл к окну, выглянул наружу, дав прохладному воздуху себя обнять, окатить волной и слегка успокоить. Вернулся к Надежде, неподвижно лежащей лицом к стене (мелькнуло: библейская жертва под занесённым ножом), тихонько прилёг сзади, уже не смея будить. Лишь продел обе руки у неё под грудью, сцепил их, вжался всем телом и замер, тихонько поглаживая подбородком её плечо. Бормотнул еле слышно: «Это моё».

— М-угу... начертай: «Здесь была талия», — отозвалась она сонно, хрипло.

— Вот здесь... а здесь? — нежно провёл пальцем линию вдоль бедра.

— Здесь задница. Можно подняться на эту гору... или укрыться в тени этой туши.

— Я тебя вышвырну из постели, если не прекратишь оскорблять мою красавицу жену.

— Я похудею...

— Ни в коем случае! У меня проблема с четвёртым позвонком, мне велено спать на мягком.

— Наглец. По тому, как ты кувыркался, никаких проблем у тебя нет.

— Ты просто не в курсе: я старый больной человек.

— Ха... — она опять затихла, но минуту спустя прошептала самой себе: — ...волосы на груди стали гуще, лопатками чую... кудрявые...

— ...и седые...

— Да?!

— Вот утром увидишь. Первым поседело сердце — давно и сразу, ещё когда по первому кругу тебя искал. Когда твой армянский святой меня не пожалел.

— А сколько их было, этих кругов?

— Много разных. Дольше всех — бумажный. Запросы, запросы... Сначала на Надежду Прохорову, а их толпы обнаружили, ты вообразить не в силах. Только моей нигде не оказалось.

— ...я же сменила...

— Потом стал варьировать фамилии. Материнскую помнил, а бабкину не знал. Не догадался... Потом появился интернет... Нет, это длинная сага. Всё — завтра.

— ...завтра, да...

— Постой. А родинка?!

— ...какая ещё родинка...

— ...моя любимая, вот здесь! Чечевичное зёрнышко! Караул!

— А! Кожник сказал убрать. Лет восемь уж...

— Кража моего имущества!

— ...ну, давай уже спать, у меня всё плывёт, я лыка не...

...кто-то на цыпочках пробежал по листе, шёпотом пересчитывая наличность. В комнату плеснуло прохладой, рассветные шорохи потекли внутрь суетливой *струйкой-шебушкой*... Сквозь бисер тонкого дождя он слышал или чуял, как испаривают землю выпуклые шляпки грибов...

— Ты задремал и говорил на каком-то рваном языке.

— Это иврит...

— О! Где подхватил?

— Завтра, завтра... другая жизнь...

— Ты всё расскажешь?

— ...почти...

— У тебя было много женщин?

— ...не помню, какая разница...

— А ты... почему не спрашиваешь?

— ...м-м-м?

— ...ну, был ли у меня кто-то...

— ...не хочу знать...

— ...никого.

— Врёшь!

— Ни единого раза.

Она помолчала... Это было правдой, но не вполне: она дважды пыталась, честно пыталась. В обоих случаях сбегала прямо из постели, в первый раз — торопливо натянув лифчик только на левую грудь, во второй — оставив в шикарнейшей прихоруженной любимую босоножку, другая была запущена ей вслед талантливой рукой «нашего известного автора».

18 Аристарх за её спиной не шевелился, только руки сильнее сжал, аж дыхание пресеклось.

— Эй, ты чего? — окликнула его тихонько. — Отпусти. Что там за мокрица у меня на плече? Ты что, ты... плачешь, дурень?!

*Вдруг он возник на пороге её комнаты, в доме на Киселёва: тощий, голый, семнадцатилетний, — в день, когда их чуть не застучал папка. За спиной сияли красно-жёлтые стёкла веранды, и цветной воздух клубился в отросших кудрях (опять надо стричься: ну и волосья!) — на мгновенье превратив его в первого человека в райском саду.*

*Разбежался, прыгнул к ней в кровать.*

— Чокнулся?! Ты меня зашибить мог!

— Ни за что. Я прицелился... давай подвинься.

*Кровать у неё была узкая, девичья. Как они умещались, уму непостижимо.*

— Почему ты никогда не признаёшься мне в любви?

— Че-го-о?— вытаращил свои синие зенки.

— Как все люди. Как в книгах, в поэзии: «Я вас люблю безмолвно, безнадежно...»

— Ну, это... — обескураженно произнёс он, — это же как-то... не про нас.

— Как это — не про нас?!

— Нет, я могу, — перебил торопливо: — Люблю-люблю-люблю-люблю-люблю-люблю... и ещё два миллиона раз, если тебе так нужны эти идиотские...

— Идиотские?!

— Ну, послушай... — он ладонью открыл её лоб, запорошённый рыжими прядями. — Это вот как: стучат в дверь, на пороге — человек с вываленными

кишками, мычит: «Спаси меня!» А ты ему: «Вытирайте ноги и не забудьте волшебное слово «пожалуйста». У нас же всё на лбах написано, и кишки вывалены, и зенки вытаращены... Мы — это мы, на виду у всех. Теорема Пифагора: две руки, две ноги, голова и хер...

— Фу! Что за слова...

— Хер? Слово как слово, а как его ещё назвать? Хер он и есть... штука полезная... — Скосил вниз глаза: — Вон, глянь, отзывается, знает свою кличку... как собака...

— ...хвостом вертит... хороший пёсик.

— ...правда он лучше выглядит без... намордника? Погладь его, скажи: «хороший пёсик»!

— Хороший пёсик... хороший пёсик... хороший...

Так и плыли в сон тихой лодочкой...

Голоса ещё сочились по капле, замирая, обрываясь, проникая друг в друга, — рваный судорожный вздох, два-три слова, бесстыдно обнажённых, и это уже были не слова и даже не мысли, а просто выдох, голая боль, разверстая рана; незарастающая, пульсирующая культя ампутированной жизни.

Одинокая песня жаворонка, висящего над глубоким медным глянцем вечерней реки.

\* \* \*

Под утро он снова поднялся, невольно её разбудив (да что ж это за синдром блужданий? Привязывать тебя, что ли? Вспомнилось, как маленький Лёшик каждую ночь босиком прибежал к ней в кровать).



20 Шатался где-то по дому, шлёпал босыми ногами по лестнице. Из тёмного коридора глухо доносилось:

— Где здесь туалет, етить-колотить?

Да, ночник забыла. Впрочем, им было не до ночника.

— От двери направо.

— Ну, и полигон...

— Тут хлев был. Председатель коз держал.

— Это какие-то прерии, а не... и где тут нащупать... а-ябть!!! — похоже, налетел на книжный шкаф.

— Выключатель над деревянной лошадкой.

— Твоя милая лошадка и лягнула меня по яйцам!

Надежда вновь засыпала в изнеможении...

Сознание норовило улизнуть, сбежать в сон от неподъёмного потрясения последних часов, от непомерного, высоченного, тяжеленного счастья. Вскользь подумала, что спать-то теперь вообще нельзя, надо время ценить, каждую горестно-сладкую минуту, когда, теперь... вместе... не отрывая глаз. Так и ходить — боком, не расцепляясь, как инвалиды, — *а мы и есть инвалиды, два старых пердуна, контуженных юношеской страстью...* Только не было сил; силушек не осталось ни капли. Она засыпала, уже скучая по его телу у себя за спиной (*сквозь дымку сна: он что, не привык засыпать с женщиной? а ты — ты привыкла хоть с кем-то засыпать? ваши потерянные тела просто ошалели друг от друга, и потому ты лежишь как подранок, а он мечется как подорванный*), — неудержимо погружаясь в рассветный, залиvistый птичий дребадан...

Уже баба Маня прошлась-проплясала по избе (на плечах — шерстяной лазоревый платок с золотыми розами), задорно припечатывая: *«Одна нога топотыть, а другая нэ хотыть, а я тую да на тую, да и тую раздротую...»*

...как вдруг Аристарх — где-то рядом — резко двинул стулом и проговорил изменившимся, осевшим каким-то голосом:

— Не понял. Где это я? Когда?

Она с усилием разлепила глаза и зажмурилась от света лампы: он стоял у стола и держал в руке фотографию. Поскольку там одна только и стояла, Надежда всё поняла. И всё это было так некстати!

Там, победный и праздный, в элегантной куртке и дорогущих джинсах, в каких-то дурацких крагах, на фоне мотоцикла запечатлелся Лёшик: прошлым летом мотался по Сан-Марино с кодой своих инфекционистов. Где-то они выступали вроде бы — на бульварах, в барах... или, чёрт его знает, — в ратушах.

«О, не-е-т, боже мой, — подумала она, закрывая глаза в безуспешной попытке защититься ещё и от этого. — Только не сейчас!»

Вообще, она не имела привычки расставлять по столикам и книжным полкам фотографий любимых лиц, ибо всё носила в себе и пока ещё, как считала, ничего не растеряла и не нуждалась в предъявлении фотографической и топографической любви. А эту небольшую, снятую чьим-то телефоном и овеществлённую в фотокиоске карточку принёс сам Лёшик, — во-первых, по-

22 мириться после долгой и хамской с его стороны размолвки, во-вторых, похвастаться мотоциклом, который недавно освоил. Фотографию втиснул в дешёвую золочёную рамку (намёк на якобы мешанский вкус матери) и выставил в центр стола — любуйся, мать! Мир и мотоциклетное благоволение во человецех. После его ухода Надежда отодвинула подарок подальше и слегка отвернула к окну, уж больно поза да и физиономия были у сына самодовольные.

Так вот на что Аристарх наткнулся в своих ревнивых инспекциях! А с первого взгляда, в жёлтом мареве лампы, сходство действительно невероятное.

— Странно... — обескураженно бормотал он. — Ни черта не помню! Маразм. Что за куртка... и мотоцикл?! Мистика, маскарад. Где это, ёлы-палы, и откуда — тут?! Да нет, это кто-то... другой, да?!

— Не сейчас. Мы же договорились: завтра. Всё зав-тра...

Он прыжком оказался возле кровати, рухнул рядом, схватил её за плечи и основательно потряхнул.

— Ты рехнулась?! Ты правда думаешь, что я дам тебе спать?! Кто этот парень?! Где он? Когда?!! Отвечай, или я придушу тебя!!!

Она со вздохом подтянулась на обеих руках, села в кровати. Подоткнула подушку за спину.

— ...дай сигарету.

— Нет! Ты бросила курить.

— Когда это я бросила?

— Шесть часов назад. И навсегда... Давай! Рас-

скажи мне сейчас же, что это за... мальчик. А потом я тебя точно убью! Когда. Он. Родился.

Она год назвала запухшими губами...

Огромная тишина вплыла в открытое окно, застрекотала-затрепетала предрассветным говорком каких-то птах.

— Се... Семён? — прошептал он, осекшись. Каким он маленьким вдруг стал, мелькнуло у неё. Маленьким, съёженным, потерянным...

— Иди ты в задницу со своей семейной сагой, — проговорила почти снисходительно. — Он — Алексей, в честь моего деда. Хотя доброты его, увы, не унаследовал.

Аристарх повалился рядом навзничь, перекрыл глаза скобой локтя, будто хотел ослепнуть, не видеть, будто боялся до конца осознать и зарыдать, и разодрать к чёрту какое-нибудь покрывало, стул какой-нибудь разломать в этой уютной чудесной спальне.

— Как ты... посмела, — пробормотал глухо. Лёгкие его трепетали от нехватки воздуха, от горя, горящего внутри. — Как посмела отнять... всё разом: себя, нашего ребёнка...

— Это не наш ребёнок, — оборвала она спокойно. — Наш погиб. Вместе со мной.

Поднялась, нашарила босыми ногами тапочки (где вы, светящиеся тапки Изюма!), накинула халат, нащупала на тумбочке пачку сигарет. Щёлкнула зажигалкой и жадно затянулась. В свете огонька сигареты её лицо с припухшими губами казалось осунувшимся и резким, и поразительно юным. Выдохнула дым, погнала его ладонью мимо лица, сощурилась и проговорила:

24 — Ладно. Это «завтра», собственно, уже настало. Сядь вот здесь, напротив, я всё расскажу. Только портки надень. Я эту сцену двадцать пять лет репетировала...

\* \* \*

«Дорогая Нина, простите-простите-простите, что не отвечала так долго. Тому были причины, вернее, одна громадная причина, о которой не здесь, не сейчас, а когда-то, возможно, расскажу и даже покажу.

У вас там сейчас жара, а у нас только что бушевал неистовый ливень. Вдруг налетели чёрные брюхатые тучи и сразу же пролились мощными струями. Помните: «Катит гром свою тележку по торговой мостовой, и расхаживает ливень с длинной плёткой ручьевой»?

Ветер, ежесекундно бросаясь в разные стороны, закручивал струи в фантастические вытянутые фигуры на одной ноге. Несколько таких, раскачиваясь и утолщаясь, как удавы, носились по моему лужку и яростно лупили о плитку дорожки, а в это время на небе быстро чередовались молнии: вертикальная, косая, трезубец, белая, алая и, наконец, горизонтальная — во все мои окна, — длинная, изгибистая, с коралловыми отростками. Небо треснуло вширь огненными щелями. Удары грома были такой силы, что испуганный Лукич хватанул меня за колено.

Ещё мгновение, и эти буйство и красота, закипая в небесных парах, понеслись дальше. Я побежала наверх, на третий этаж, досматривать па-

рад молний. Там у меня, Вы же помните, шаром покати, один огромный пустой кованый сундук стоит, купленный у Канделябра, — Изюм спину надорвал, пока его на верхотуру заташил. Мне почудилось, именно в нём спрятался и, стихая, ворочался уходящий гром. А на небе остались только слабые сполохи. Всё это напоминает сильную, но быстротечную страсть или гремучую реку...

Вы когда-нибудь наблюдали громокипящее шествие смерча? Со мной такое однажды произошло.

Когда Лёшик был маленьким, два лета подряд мы с ним провели в захолустном, но милом предгорном селе на Чёрном море. Снимали комнату в доме у одной вдовы, неряхи и лентяйки. Когда она выпивала рюмаку, то вспоминала о супруге, и в её хнычущем голосе слышалось явное облегчение: видимо, покойный заставлял её хоть как-то прибираться в доме. Дом был запущенный, полы рассохлись, голубая терраса облупилась и заросла перевитыми жгутами глицинии, но вот сад... За этот сад, как в старинном романсе, *объятый бархатной жарой*, душу было не жалко отдать! Библейский Эдем, огромный, изобильный, весь засаженный деревьями: гранатом, инжиром, абрикосом и вишней. Вечерами мы там ужинали — в виноградной беседке, за колченогим деревянным столом, поднимая руку и отщипывая от тяжёлой винно-красной грозди парочку виноградин.

Однажды как-то особенно быстро стемнело, над деревьями выкатилась баснословная луна,

26 залила весь сад призрачным гробовым светом. Силуэты деревьев и кустов вдруг обрели потусторонний или, скажем, театрально-постановочный вид: воздух заполнили яркие светлячки, медленно, как во сне, дрейфующие в зеленоватом мареве. Мы с Лёшиком притихли...

А за волшебным мерцающим садом простирался морской горизонт, над которым — это и в темноте было видно — уплотнялось небо, набухая грозным асфальтовым мраком. Внезапно тучу вспорола ледяная рукастая молния, и ещё одна, и ещё! За исполинским харакири в душной мгле прокатился оглушительный рык, будто сотнями тысяч глоток возопила боевой клич какая-то небесная армада.

Вдруг рядом очутилась Таисья, хозяйка... Сощурилась, вглядываясь в горизонт, и тихо проговорила: «Есть!» Мы стали тарашиться в том направлении и увидели, как в брюхе необъятной чёрной тучи возникла и бешено завертелась бородавка. Она росла, росла... вытянулась вниз и завилась штопором. «Смерч, — спокойно пояснила Таисья. — Если до моря дотянется, то на нас пойдёт». И, заметив моё первое движение: схватить Лёшика на руки и переть с ним в горы, пока достанет сил, — придавила рукой моё плечо и сказала: «Не бздо. Нас не тронет. Вверх по реке пойдёт».

Между тем циклопический хобот смерча дотянулся-таки до моря и стал пить воду. Сколько он набрал? Сотни, тысячи тонн воды? Не знаю, но в какой-то момент насытился и двинулся к берегу. «По реке пойдёт, — повторила Таисья и зевнула, — спите спокойно».

А утром ждала нас развязка спектакля, эпилог действия античного размаха. Смерч прошёл по маленькой речушке, запасливо подобрал из неё водички, поднялся в горы и уже там вывалил в её русло многотонную массу воды. Вмиг жалкая речушка превратилась в неукротимый поток, сметающий любое препятствие: волна библейского потопа ринулась вниз, сшибая по пути гигантские валуны, с корнем выдирая мощные деревья, — так что наутро мы увидели широкую запруженную реку...

Вот, собственно, что с моей жизнью на днях произошло, с той только разницей, что несёт меня и дальше в самой сердцевине смерча — с вырванными корнями, ошалелой кроной, ободранной корой.

Только не беспокойтесь обо мне. Я счастлива...

Кстати, насчёт сборника рассказов о любви. Ваша идея хороша, но вспомните, что в пятнадцатом году у нас с Вами выходил уже сборник с похожим составом. Я бы двинулась в другом направлении: в сторону истоков и... внутренней свободы, и памяти, и хулиганства. У Вас, помнится, есть куча устных зарисовок о бакинском детстве: ярких, смешных и не совсем приличных, которые Вы рассказываете за рюмкой смачно и с акцентами, смешно тараща глаза. Это самое то! Пока Вы год или два будете в слезах и в поту строгать увесистый том своего романа, нас покормят эти хлебные крошки. Сядьте и вывалите из-за пазухи на бумагу всё: детство, родню, соседей, все обиды и драки, и детскую вороватость, и подростковую любовь, и страх... и вообще, стыдобу всех мастей.



28 Оно всё давно у Вас в голове и в сердце, так что времени на всё про всё даю два месяца.

Подумайте над некой общей струной, что звенит и стягивает детские впечатления каждого из нас, где бы мы ни родились, где бы ни выросли, и не забудьте присобачить те байки про соседку, которая, помните, говорит сыну: «Не надо привыкать к бабушке, она скоро умрёт...», а заодно и про саму бабушку: «Клара Вениаминовна, меняю свою больную ногу на ваш цвет лица». Я правильно помню? Мы сидели у Вас на балконе, на ближней горе зелёными кольцами светились минареты, а Вы рассказывали про своё детство. Пару бутылок красного мы тогда уговорили; оно называлось как-то чудно: «Псагот» — от чего в воображении возникали псарни, готические крыши, созвездие Гончих Псов. Было очень хорошо, свежо так, природно... И дышалось легко, потому что из ущелья к нам поднимались духи ночной пустыни: чабрец, лаванда, мята и розмарин, а Иерусалим сверкал на горах и стекал по склонам ручьями жёлто-голубых огней.

И вот ещё, вот ещё что (чуть не забыла!): про соседскую девочку напишите, как та выносила горшок брата на помойку и, опорожнив его, надевала на голову и шла так наощупь, вытянув руки, — голова в горшке, а Ваша бабушка, глядя на эту картину с балкона, растроганно говорила: «Как она любит братика!» И про армянскую свадьбу во дворе не забудьте, когда невесту спрашивают: «Сусанна-дорогая, пачему ты нэ плачешь в такой день?!» А она гордо так: «Дядя Гурген, пусть плачут те, к кому я иду...» В общем,

вспомните всякое такое, что у Вас пока лишь в памяти, а нужно выковырять его наружу, это богатство, для Вас привычно затверженное, а для читателей — чистый восторг и упоение. Не всё ж кормить людей трагедиями и философией, дайте им чуток улыбчивой, забавной, тёплой южной жизни: про то, как Ваша бабушка готовила «лат-кес», про виноградную беседку, где Вы, как ли-сица, закапывали «клады», и про похороны молодого бандита с соседней улицы — когда Вас, пятилетнюю, послали в булочную, а тут процессия, и гроб опустили на два табурета, и Вы подошли, встали на цыпочки и положили на грудь покойнику связку сушек, а молодая вдова зарыдала... Помните, в этом месте Вашего иронического рас-сказа я тоже зарыдала? Умоляю, Нина, ничего из этого не забыть, не потерять! Залудите веселуху, чтобы все заплакали.

А меня опять простите, я сейчас не могу долго сидеть у компа, я вообще не могу надолго при-сесть, — не стану ничего говорить, даже не спра-шивайте, только одно: жизнь мою сотрясло, за-крутило и подняло на гребень такого девятого вала, что меня качает и качает, и вообще, что-то неладное с гравитацией. Как бы мне совсем не улететь, несмотря на мой вес.

Ваша Надя».

\* \* \*

Вот, ей-же-богу, мало что могло в этой жиз-ни оглушить Изюма или там помешать ему ше-ствовать по этой самой жизни невозмутимой

30 модельной походкой. Не довольно ли колотила его судьба — и башкой, и многострадальной задницей — о стены-кирпичи-заборы! Нет, Изюм был человеком бывалым, прозревающим события и людей, как сам говорил: «сквозь говнецо, шарарды и мечты».

Но то, что с ним стряслось — там, на веранде Надеждиного дома, и потом, когда, бесславно его покинув и прометавшись на своём одиноком диване всю ночь без сна, он пытался разгадать, сопоставить, нащупать вывод... — нет, всё это не поддавалось осмыслению. Двери-окна у соседки наутро были закрыты, и тревога, обидное чувство непричастности и упущенного шанса одолевали Изюма с грызущей настойчивостью. Он даже на халтуру к Альбертику не поехал, а всё утро бродил по двору, искоса поглядывая на соседские окна: а вдруг там убийство произошло?! А чё, и запросто: один убил другую, а потом закололся сам — у Петровны, кстати, прекрасные ножи фирмы Wüsthof, полный поварской набор. Слыхал же вчера, как этот доктор недоделанный возопил душераздирающим шёпотом: «Дылда!» — что само по себе, согласитесь, оскорбительно и может служить началом разборки. А Петровна...

Вот с ней как раз всё было неясно: то ли испугалась она, то ли занемела вся, то ли изнутри занялась каким-то сияющим пожаром... А теперь — что? Куда бежать, кого звать, в какое МЧС звонить — трупы вытаскивать из-под завалов трагедии? А то, что меж этими двумя простёрлась трагедия, у Изюма сомнений не было.

Когда беспокойство достигло напряжённой дрожи в груди, а тишина на соседнем участке набухла *зловещим преступлением*, Изюм, прихватив ломик в сарае, двинулся к заветному лазу в заборе. Напоследок бросил взор на окно соседской спальни... и ломик выпал у него из руки, больно хрястнув по ноге в кроссовке.

Окно было настежь, а в нём — *хоба!* — стоял тот же самый, только голый, доктор. То есть виднелся он голым по пояс, в верхней, так сказать, модели корпуса, но, судя по выражению лица и блаженному взгляду, убежавшему куда-то по верх крыш и верхушек деревьев, впивал красоту деревенского утра целиком-голяком, посылая всей грудью привет этому миру, всеми потрохами отдаваясь облакам, столбам-проводам, пруду, деревьям и стоголосой птичьей рати. Да что там гадать: голым тот был, как есть голым, в чём мать родила. Уж Изюму-то не знать: человек в трусах взирает на мир куда более ответственно и деловито.

Изюма натурально пришибло; его даже зазнобило, видно, микроб какой подхватил, хотя он и догадывался — что за микроб его буравит. Он поплёлся к себе, заварил чай с имбирём и лимоном, выпил и лёг на диван.

Несправедливость этого мира накрыла его свинцовой задницей, уселась на грудь, терзала невиданными хамскими картинками, какие присочинить его богатому воображению ничего не стоило. Значит, вот она, моральная высота некоторых якобы достойных женщин: не успел мужик ступить на её веранду своей посторонней

32 ногой, как с него в мгновение ока спадают труселя? А раз так, то с очей Изюма спадает пелена благоговения! И не надо нам ля-ля, не надо классики и музыкального момента, не надо многолетних чинных чаепитий из кузнецовского фарфора, и даже скатерти дружской работы — спасибо, не надо, — если всё сводится к этой банальной картине: голый проезжий в окне её спальни!

Господи, ну почему он-то, Изюм, только раз и глянул в её спальню, и то когда в прошлом году там батарея текла, а этот, бродяга безродный... этот бритый сумрачный дундук, чёрный ворон окаянный, — да что она в нём нашла, а?!

«Нет-нет, при чём тут «что нашла», — укорил себя Изюм. — Тебе-то, парень, что с того? Нашла и нашла. Ты — человек семейный, хоть и разведённый, и никаких видов на Надежду иметь не мог, не должен, и привет тебе горячий! А чего ж ты залупаешься? — честно спросил он себя, и честно ответил: — Да просто обидно!»

И вдруг, часа три спустя — звонок, и голос Надежды — утренний, звонко-рыжий, каким он его любил, воскликнул:

— Эй, сосед! Изюм Алмазыч! Прости за вчерашнее, а? Нездоровилось. Ты приглашён, слышь? Давай, подваливай. Тут не то поздний завтрак, не то ранний обед наметился... А который час-то? — спросила она в глубь комнаты, и голос *того* ответил: — Я не смотрел, часы наверху.

Часы его наверху, где вся его одежда, мысленно добавил Изюм, а в столовой напольные старинные, с гравировкой серебряной, он, конечно,

и не заметил. И о настенных-дивных, что в малой зале, с медными гирьками под еловые шишки, а вызванивают так, что сердце млеет... — и о тех понятия не имеет, потому как всю ночь совсем иным *тик-так*ом занимался. Изюм представил, как тот бродит сейчас, голый, по столовой, *гремя причиндалами*, и помогает Надежде собирать на стол. Вслух же прокашлялся и степенно спросил:

— Принести чё-нить? У тебя обычно с соусами как-то не танцует.

— Какие соусы?! Глазуньей перебеёшься, — отрезала она.

Когда Изюм вошёл и неуверенно встал на пороге, обнимая кастрюльку, стол в столовой был уже практически накрыт, а скатерть постелена — отметил он, — та праздничная, от Нины.

— Я рис сварил, — простецки сказал, — такой, неформатный. Однако на стол поставить можно — для интриги. Хотел ещё супчик соорудить, деликатесно-элитный. Но у меня супчик острый, не все бывают довольны.

— Знакомься, — отозвалась Надежда, кивнув куда-то себе за плечо и сосредоточенно нарезая огурец в салат.

— Чё знакомиться-то, — удивлённо буркнул Изюм. — Его кто вчера привёл...

— Нет, ты познакомься, — терпеливо и твёрдо повторила Надежда. — Это Аристарх Семёныч, мой муж.

Ну, тут Изюм что — совсем охренел. Глупо так ухмыльнулся, спрашивает:

— Как муж? В каком смысле?

34        Хотя что там спрашивать: не дураки, понимаем, картинку в окне видали.

Нет, конечно, сейчас тот был вполне одет, и даже, по всему виду, свою рубашку в синюю клетку успел выстирать, высушить и отгладить — будь здоров (а скорее всего, эти действия сама Петровна и произвела). А ещё Изюм отметил то, чего раньше не замечал, трудясь с Сашком на объекте бок о бок, а может, раньше тот как-то горбился или ноги подволакивал да и глаза прятал? Сегодня он выглядел каким-то... молодым, что ли, синеглазым, ладным и совсем не хмурым: рубашечка отглажена и красиво так расстёгнута у ворота, шея открыта, загорелая, рукава по локоть закатаны, джинсы так ловко сидят, прям танцор, хоть в Аргентину его — танго крутить. По кухне плавал зигзагами, как крупная рыба в знакомом пруду, и по кругам этим заметно было, как он старается быть поближе к Надежде, как любовно, тесно её оплывает, то и дело мимолётно касаясь плеча или шеи, а разок даже тайком огладил её в районе задницы — думал, не заметно? — срамота и несдержанность!

Нет, вообще-то свободный человек может объявить себя кем угодно, хоть королём-лиром, но уж «мужем» так называемым... давайте не будем! И дело не в том, что никакими «мужьями» вокруг Петровны никогда и не пахло, а в том, что и Лёха, сынок её, уж на что заковыристый перец, редко осчастлиливляет местный пейзаж своим появлением, а, знакомясь с Изюмом, простодушно представился Алексеем Петровичем (а вовсе не — как? — Арис-тар-хо-ви-чем? язык

сломаешь!). «Что, тоже — Петрович?» — удивился тогда Изюм, а тот шутовски поклонился и: «За неимением гербовой пишут на той, что подвернулась», — и руками развёл, и бог его знает, что этим хотел сказать.

— Хм... ну, муж так муж, — деревянно заметил Изюм. Отодвинул стул и остановился в ожидании: неудобно как-то первому садиться, а увлекательные разговоры затевать... эт увольте, в такое странное утро. Да и о чём говорить?

— У Нюхи-то течка, — сказал он, нащупав наконец нейтральную тему. — Лижет меня, как безумная одалиска. Стоит прилечь, она — прыг на диван и пошла языком чесать: лижет-лижет, прям до смерти зализывает, я весь в синяках.

Ну и что он такого сказал? Эти двое переглянулись и просто согнулись от хохота: Надежда салатницу еле до стола донесла. Рухнула на стул и давай заливаться, слёзы вытирать, салфетки под носом комкать. И Сашок туда же — гогочет, гогочет... остановиться не может. Что ж: синяки им показать? Изюм и показал: руки вскинул, стал рукава рубахи закатывать... Ржут, дурачьё, чуть не икают, а Петровна всё: «Прости, Изюм... прости, это не над тобой... это просто...»

И тут понял Изюм: это не над ним, это они от счастья гогочут, это из них неуправляемое счастье прёт и грохочет во всех регистрах; просто он, Изюм, своим невинным замечанием о Нюхе отворил, может, тайный клапан, что заперт был много лет в отсутствие персонажей, а оттуда хлынул пьянящий, сладкий, горький дурман. Вспомнил, как вчера Надежда имя произнесла:



36 «Аристарх», — с какой болью, с какой кровью его выхаркнула! И вновь подумал: это что ж между ними стряслось, что имя его прямо горло ей рвёт!

И всё же у Изюма был неисчерпаемый кредит доверия к слушателям. Смутить его или обидеть хорошим настроением было практически невозможно. Как только Надежда прямо со сковороды вывалила ему на тарелку симпатичный шмат глазуньи, да с помидорами, да с луком, да с грибочками, и селёдочку серебристую, «Матиас» его любимый, в тонком кружеве лучка, подвинула поближе, — он сразу всё и простил, смазал в памяти утреннюю картинку в окне и пошёл наворачивать:

— Лукич-то наш — герой! На прошлой неделе вон рыбачили с Ванькой на Межуре, взяли Ньюху с Лукичом. Пока с удочками то-сё, глянть — с того берега лось переправляется. Во пейзаж: башка над водой, рога ветвистые — на десять шляп минимум... Ньюха, свинья моя алабайская, напердела от ужаса, струхнула так, что легла за корягу и лапами голову накрыла. А Лукич — шасть к воде и давай лаять как подорванный, я аж испугался, что разорвётся от надсады. Лосяра этот охеренный опешил, подумал, видать, своими рогами... и решил не связываться. Развернулся и обратно попёр. А наш перспективный лабрадор... представляешь — в воду за ним! Тут уж мы с Ванькой побросали удочки и тоже — в воду: всё ж таки лось, большой зверь, опасный. Вытащили, короче, твоего задиру! Такие вот заплывы и рекорды...

— Правда, что ль? — восхитилась Надежда.

У неё глаза сияли, хотя лицо она старалась держать в строгости. Волосы свои победоносные тоже строго убрала сзади в пучок. Но вот голос и глаза выдавали какое-то безумие: то ли счастье, то ли отчаяние, в общем — оторви и выбрось! И ещё губы какие-то другие: молодые-пухлые, воспалённые, поди, после ночи-то, ещё бы. А тот, Сашок, только на неё и смотрит, глаз не сводит.

Да что ж это они, как обречённые, вдруг подумал Изюм, будто их обоих на телеге — прямо к плахе дубовой! И сам себя оборвал: тю, дурак, какая плаха, что за поэзия?! Смотрит и смотрит, и понятно: на кого ему — на тебя, что ль, глядеть? Нагляделся небось в бригаде у Альбертика.

— Да я этого лося потом аж два раза во сне видал!

— А я... — вдруг проговорил Сашок, как очнулся, — я однажды видел ангела. И не во сне.

Изюм с Надеждой на него уставились, а он потянулся вилкой в середину стола, где стояла белая фарфоровая бадья с наваренными сардельками, подцепил одну, донёс до своей тарелки и принял-ся методично её нарезать.

— Меня после операции привезли в палату, а я ещё в полунаркозе плыву. То вынырну, то снова барахтаюсь в тумане. Отворил глаза — вокруг меня муть, голубизна, косые стены куда-то летят, а прямо надо мной ангел парит: сам алебастровый, голова в белом облачке, глаза длинные-прекрасные, как на грузинских фресках... У меня язык едва шевелится. И я на иврите, потому как — ясно же, на каком языке там следует разговаривать: «Ты — ангел?» — спрашиваю...

38 «Нет, — говорит. — Я — Мухаммад, медбрат». Смешной моментик, да; но никто из них не улыбнулся. Надежда спросила тихо: «Это когда... тот шрам?», а Изюм подумал: «Ни хрена себе — с ангелами на иврите...»

— Да нет, — легко отозвался Сашок. — Это в другой раз.

Тут Изюма как поленом по башке: а может, и правда муж? А вдруг он — разведчик, и всю жизнь где-то там... по рации, тайным шифром, или как это сейчас? Заслан, заброшен много лет назад, и так далее, и даже сын отца не знает, и отчество другое, для прикрытия.

Изюм прямо похолодел от восторга: точно! Наш шпион, внедрённый для какой-то важнящей государственной задачи. Приехал жену повидать, которую сто лет не видел. Вон Штирлицу-то жену издали как раз в шалмане показывали, и та сидела-плакала, бедная баба. Ну, дела-а-а!

Правда, не очень как-то всё оно сходилось: подённая работа Сашка в бригаде у Альбертика, и то, как Изюм вдруг пригласил его к себе, а мог ведь и не пригласить? — и то, с какой неохотой тот согласился наведаться к его соседке... Что ж получается: они оба не ждали этой встречи? В общем, запутался Изюм, притих...

И хотя его никак нельзя было назвать бирюком, и свободные мнения всегда изливались из его организма без всяких, как сам он говорил, таможенных деклараций, всё же он не решался заслонить своей персоной интимную суть данного застолья.

Тогда уже Петровна подсуетилась насчёт светской беседы. Спросила — как, мол, поживает Маргоша, супруга дражайшая, и как она смотрит на его мозговитую деятельность. Тема, прямо скажем, больная — на что, ясен пень, Петровна и рассчитывала, надеясь Изюма разбередить. Ну он и понёсся с места в карьер:

— Марго-то? — отозвался радостно. — Да мы с ней без конца срёмся. Коллапс и ужас. Она бы хотела устроить мне *брекзит навеки*, но понимает, что тогда её драгоценному имению настанет полный и окончательный аншлюс. Ну, и делает разные пакости: позавчера высыпала в мой ящик с инструментами банку мелких гвоздей. Говорит: «Я подам на алименты за десять лет», — Костику как раз десять исполнилось. «Ну, что ж, — я ей в ответ совершенно незамутнённо: — Тогда встань с моего стула, вынь изо рта кусок моей колбасы. И не забудь посчитать за пять лет алименты на собаку».

— Эт что за алименты такие, на собаку? — поинтересовалась Надежда.

— А кто Ньюху шарлоткой кормил, херес ей в рюмочке подносил? Кто ей педикюр делал?.. Вот чего ты ржёшь опять, не понимаю? — спросил Изюм с физиономией лукавой донельзя. — Кстати, и тебе бы следовало насчитать за Лукича... А Маргарита всё: Дэн, Дэн! Это герой её нынешнего романа. Дэн то, Дэн сё... Дэн зарабатывает шестьдесят тыщ в месяц. А забыла, говорю, как твой Дэн сюда приезжал и в икре чёрной валялся?

— В икре-е?! Прямо так валялся? Откуда ты столько икры надыбал?

40 — Я ей говорю: давай совместно двигать в будущее стезю нашего ребёнка! Я уже не пью, мозги у меня разморозились, стали мультикультурно объёмными. А она опять: алименты! И, знаешь, пропёрло меня. Ладно, говорю, я тебе устрою: сначала бесплатную распродажу, потом — короткое замыкание! И Серенадке скажу. Та не посмотрит: племянник — не племянник, живо отправит в Омск картошку копать!

Надежда испытывала странное чувство гордости и удовольствия за Изюма, — как всегда, когда тот взбирался на невидимую трибуну и нёс вот такую восхитительную байду. И, как всегда, по мере наращивания пылкости и отваги в спонтанно возникающих диалогах, которые — подозревала она, хорошо зная Марго, рабовладелицу Изюма, — в реальном времени просто никак не могли прозвучать, фигура этого незадачливого деревенского Санчо Пансы обретала социальное бесстрашие и даже некоторое величие. Всё же Изюм был на диво театрален и, в отличие от литературных своих потуг, говорил всегда как по писаному, вернее, как *по написанному* неким небесталанным драматургом, удачно смешавшим в прямой речи персонажа разные пласты современной городской, телевизионной и простонародной бодяги.

— Ну, хорошо, — решительно оборвала она соседа, зная, что тот ненароком может забрести в самые дремучие дебри и долго потом искать дорожку назад. — А что на изобретательском поприще, как там ноу-халяу, продукт твоего блистательного интеллекта?

— Давай, смейся-смейся... Хе! Скоро будешь ползать у подножия моего чугунного монумента, помпу у меня вымалывать.

— Помпу?! Что за помпу? — искоса поглядывая на Аристарха и улыбаясь ему, воскликнула Надежда. Ей сегодня, после пережитого утром, очень хотелось развеяться, завить верёвочкой прошлое горе, заново полюбить окружающий мир, соседей — всю округу.

Изюм слегка откидывается на стуле, смотрит, прищурившись то на Петровну, то на гостя её (мужа-немужа), несколько мгновений сучит короткими пальцами, словно отряхивая с них пыль или муку... Наконец говорит:

— Да банальная вещь, видишь ли... Банальная, в сущности, но изысканная мысль пришла мне в голову. И никому же раньше это не стукнуло, а? Вот смотри: приезжает разно-всякий народ на Межуру, всё лето ездют, все домики постоянно заняты. Но! Объединяющая примета: каждый тащит на горбу пятилитровый баллон воды. А я такой сижу-думаю: что, если в каждый домик поставить по кулеру? Воду туда наливать хорошую, чистую, из колодца: у Натальи, вон, или у тебя, или ещё у кого брать. Ситечко туда вмонтировать — комаров отлавливать. Эти кулерные бутылки — сто рублей штука. А помпа для больших кулеров — пятьсот рубликов. Клиент заходит в дом, а его встречает услуга золотыми буквами: «Платите сто рублей, пейте вечно живую воду из наших кулеров!» Что, скажешь, не заплатит человек такую мелочёвку, чем волоочь на себе бочки с «Ашана»?

42 — Пожалуй, заплатит.

— Ну! Вода же чистая, глубокая. У нас в колоде водичка очень вкусная. Не ржавеет, не плесневеет, не хмурится, — настоящая народная живая вода.

Изюм, когда хочет убедить слушателей, и сам вдохновляется, расправляет свои роскошные оперные брови, рубит ладонью воздух на кубики, аргументами так и сыплет... В сущности, он похож на лунатика, который гуляет по коньку крыши — бесстрашно, бездумно, под магическим светом луны. Потом спроси у него — как получилось, что влип в очередной майонезный цех, он и сам растеряется, не понимая ни черта. Это всё натура проклятая — артистическая. Изюм просто в образ входит, и его, как лунатика, не дай бог окликнуть или оплеуху залепить: загремит с крыши как пить дать, не опомнится.

— А для православных можно у батюшки бутылку освятить, с отпущением грехов... Дайте же мне сотнягу за эту благородную купель! Что я, за месяц не нахреначу на десять тыщ с молебнами? Это ж, ты вдумайся, какое ноу-халяу! Да отсюда люди будут святую воду в бутылочках возить, как из Лурда — помнишь, Петровна, ты мне детектив привозила, убийство в Лурде?

— Мысль... плодотворная, — подтвердила Петровна с некоторым сомнением в голосе.

— Ну! Я с докладом к Гнилухину: так и так, Петруха, есть, говорю, бизнес-проект, готов обсудить деловое партнёрство с тайной исповеди. И что ты думаешь? Вчера узнаю, что они закупили кулера с помпами, а мои материальные ин-

тересы опять безжалостно попораны... Блинадзе! Опять меня объегорили, идею грабанули. Что ещё им отдать, акулам мирового капитала, светящиеся тапки, мою заветную мечту, вершину научной мысли? Так те мгновенно всюду появятся, где только не хошь.

— А эти самые тапки... — осторожно произнёс Аристарх, обращаясь, скорее, к Надежде, — я второй день о них слышу. Они вроде такого символа, да?

— И не только тапки! — горячо воскликнул Изюм. — Можно ведь и стульчак этими нитками обшить, в темноте мужику ловчее целиться! Тут в целом бизнес-идея грандиозная! — Он подался к Надежде: — Петровна! Это не у тебя я швейную машинку видал? Нет? Жалко... Я ходил, думал: блинович, у кого я видал машинку? На ней же можно эти тапки прострачивать. Нет? Тогда шило купи! Я-то умею им пользоваться. Я эти твои экспериментальные тапки шилом простегаю. А нитка, то вообще ерунда! В интернете её много фирм продают. Она разных цветов и разной толщины, стоит копейки. И принцип работы прост весьма: днём она заряжается — вон, поставь тапки на подоконник и вдохновляйся, — а ночью свет отдаёт, как далёкая звезда...

Минут сорок уже, как понял Изюм, что пора уходить, ибо заметил, что Сашок правой рукой то хлеб щиплет, то дольку огурца в рот положит, а левую под столом держит на хозяйской коленке, просто так спокойно, уверенно держит, и ясно, кому это колено теперь принадлежит.



44 Три раза уже заводил Изюм протяжное: «Ох-хо-хо-ошеньки... Ладно, пойду». И всё не уходил. Не отпускало его... Странная штука: было в этих двоих, даже спокойно сидящих, что-то багряно-тревожное и такое полное, будто вчера соединились разодранные когда-то половинки одной жизни, и вот сидит эта жизнь, так жадно, так страстно и мгновенно сросшись в единое целое, пылает огненным сросшимся швом, и вроде больше ничего ей не нужно, а сосед, брехун... ну, пусть его болтает. Может, он даже как-то украшает их новую полную жизнь.

Вот, значит, как, думал Изюм, вот как оно бывает: доплёлся бродяга безродный, нога за ногу, подняв повыше ворот. А его тут, как в сказке, всю жизнь царица ждёт, да в каком тереме ждёт — ты ж оглянись, чувак, какие чудеса вокруг! Одна только печь, облицованная знаменитой московской керамисткой, со скульптурной группой наверху: Пушкин с Лукичом, обнявшись, вдаль глядят, — одна эта печь чего стоит! Ты разгляди, чувак, в старинной горке чудеса императорского фарфора, сквозь три столетия пронесённые из Санкт-Петербурга через Ленинград, и вновь в Санкт-Петербург! Ты разгляди эту хрупкую синеву, эту невесомость, ты ощути, как едва ли не в воздухе парит прозрачная чашечка, сквозь которую что кофе, что чай, что компот мерцают золотым слитком очарованной мечты!

Нет, ничего ему, кроме неё самой, не нужно. Сидит, чувак, хлебушек по-тюремному крошит, держит руку на дорогом ему колене. И должно быть, ждёт не дожждётся, чтобы Изюм отвалил...

— Не-ет, заниматься каким-нибудь строительством-фигительством... — это не моё. Пора ставить жизнь согласно генеральному замыслу. Пора думать о творчестве на коммерческой основе.

— Изюм, ты вроде не пил, но что-т тебя в открытое море понесло, — терпеливо заметила Петровна. — Бери вон ещё сардельку, она очень творческая.

— У меня какой план был? Вот думаю: ещё две зарплаты, и куплю себе станочек по нанесению шедевров на стекло, а ещё станочек для холоднойковки. И это будут не просто слова, а конкретное творчество, наконец. Понимаешь? Ты веришь в меня? Принесу тебе, скажу: «Смотри, Петровна! Вот поднос я сделал: залитый поднос, два подстаканника». Тебе ж приятно будет, что это лично я сделал, а не купил анонимно в магазине?

— Ну? Где же?

— Да погоди ты, Петровна... куда мчишься. Дальше с этим надо что-то делать, реализовать продукцию, строить на своём участке студию, открывать галерею. Можно и центр искусств засандалить...

— Нью-Васюки, — подал голос Сашок.

— Что?

— Ничего.

— Ага, вот, к Витьке, «Неоновому мальчику», за щенками много народу ездит. Можно договориться на акцию: покупаешь щенка, получаешь бонус: поднос с подстаканниками. Круто? С другой стороны, Витька мгновенно потребует доля, а я ему тогда: ты мне сначала за Дед Мороза — доля. Доля за доля... — и пошёл ты на

46 хер, и не ходи сюда боле. О! Я этот сценарий очень даже предвижу! Я это прекрасно мысленно рисую...

Надежда видела, что на Аристарха речуги Изюма особо развлекательного впечатления не производят, что он, пожалуй, наслушался этого клоуна по самое не могу; уже подумывала завершить «извинительное», как мысленно его определила, застолье, но неожиданно для самой себя проговорила:

— Изюмка, ну хватит бодягу лить. Слышь, а что твой архив — далёко? — повернулась к Аристарху, сказала: — Рожи там совершенно изумительные, не пожалеешь!— И к Изюму: — Тащи его сюда на сладкое, а я чай заварю.

Она набрала воду в чайник, включила его, потянулась за чашками к навесному шкафчику. Аристарх смотрел на неё не отрываясь. Так шли её длинным ногам синие вельветовые джинсы и просторная блуза лавандового цвета, и вообще, чёрт подери, так ей шла полнота! Вот сейчас он понастоящему понял толстовское описание внешности Анны Карениной, которое в юности его, пацана, озадачивало и даже шокировало: Анна, писал Толстой, была «полной, но грациозной». Как это возможно, думал. В их посёлке было видимо-невидимо толстуших баб, и все они настолько отличались от мамы — вот уж кто действительно был грациозной и вовсе не полной. Вот мама, думал, очень подошла бы к образу Анны.

Сташек пропускал толстовские приземистые описания, считая их «стариковскими» и, про-

щая с натяжечкой, скакал по страницам дальше, дальше — до самого поезда, до трагического Вронского, уезжавшего на войну... Видимо, надо было пожить, ну не столько, сколько Толстой, а вот как раз до вчерашнего вечера, чтобы ощутить это описание как пленительное, манящее, чуть ли не обнажённо чувственное. Сейчас он уже не вспоминал и не представлял, да и не хотел бы представить Дылду иной, чем вот такой: плавной, манящей, ладной и очень притом подвижной и ловкой.

Очевидно, и вполне объяснимо, что трепливый соседushка по уши в неё влюблён. И охота же ей сидеть и слушать этого шалтая-болтая! Вот к чему им сейчас его идиотский «архив», какого лешего, когда им обоим надо бы денька три помолчать, просто стоя у окна в обнимку, как стояли сегодня утром оба с заплаканными лицами — после её-то рассказа. Постоять, глаза в глаза, отирая ладонями скулы друг другу, вмещая все потерянные годы в одно — отныне — бесконечное объятие.

*Только он знал, что не выйдет, не выйдет, приехали на конечную, — хотя она пока и не догадывается, бедная...*

— Ты не злишься? — мельком оглянувшись, спросила она, ссыпая из ладони заварку в пузатый красно-золотой чайник. — Что-то супишься... Потерпи. Это он от нервов такой растерянный и болтливый. Изюм — человек хороший, но несчастный и одинокий.

— Просто пока не вижу, как мы можем сделать его счастливым. Разве что шило для тапок подарить.

48 — Ну, не будь же сволочью, — ласково заметила она, и тут примчался Изюм со своим архивом, утрамбованным в коричневый докторский портфель годов пятидесятых прошлого столетия. Влетел — деятельный, раззадоренный приглашением Надежды Петровны. Осторожно отодвинув чашки, вывалил прямо на скатерть богатое и разнообразное содержимое портфеля: грамоты, старые письма, чёрно-белые фотографии, визитки и газетные вырезки. Вот не было печали...

— Ты погоди, не нужна тут куча-мала! — Надежда пыталась ввести энтузиазм Изюма в какое-то повествовательное русло. — Ты сначала мамку с литовцем изобрази, где та фотка, что они сидят на фоне Версальского замка с выпученными глазами, а у мамки банты на плечах, из бархатных занавесок пошиты, и понизу такая изумительная вязь с ошибкой: вместо «Фотоателье Самуил Жуппер» — красиво так: «...Жоппер». Или про интернат. Ну? Где тот выпуск интернатский, группа дебилов?

А только хрен Изюма собьёшь с курса, заданного самому себе.

— Не, Петровна, я понял, про что тебе ещё не рассказывал! Я про Алика Бангладеша ни разу не вспомнил! Это ж мы с ним майонезный цех забурили.

Бангладеш, еврейский хохол. Он и не скрывал. Но странный был еврей: блондин, худой и после первой рюмки — гуляй, рванина! Фамилия у него, конечно, не Бангладеш была, а Зильбер, и отчество какое-то дикое: Фердинандыч, но он, понимаешь, чуть не единственный в Москве знал

бенгальский язык, потому как родом был из КГБ и говорил, что наладит торговлю с кем хошь, а с ихней Народной Республикой Бангладеш — как два пальца. То была птица высокого полёта. Какие дела проворачивал! У него пять фур выехало — и пять фур не приехало.

Во, смотри, фотка: мы с ним на Ленинских горах с пивом. Там пивнуха была классная на углу. Главное, он знал Махмуда Эсамбаева — помнишь, я тебе рассказывал: танцующий горец? А старик Эсамбаев познакомил его со смотрящими от Иосифа Давыдовича, откуда к нам и пришла крыша: Савва Джумаев... А потом, когда рухнуло всё, потому как в котельной лопнули батареи, и огромная партия майонеза, три фуры, оказалась прокисшей, тогда всё и пошло пухом и прахом по окрестным городам и сёлам. Тогда Алик-то мой, Бангладеш, съездил в Грозный к Савве, и тот ему конкретно сказал: «У меня денег нет», — и посоветовал пойти к Иосифу Давыдовичу. Ну, сам-то Бангладеш пойти не рискнул, но через посредничка рухнул в ноги. Ни Алик, ни я лица Иосифа Давыдовича не видели, но посредничок ходил-сновал, и тот вроде передал: «Ты коммерсант, ты и думай, где деньги взять». Типа знать не знаю, ведать не ведаю. Сумма-то была охеренная. Мы даже хотели квартиру продавать. Но выкрутились: потом я фанеркой, лесом подторговывал. Я даже ценные бумаги продавал. В общем, выполз из майонезного дурмана пришибленный, но живой... Удалось ещё спасти партию шпротного паштета, целую машину. Ну, я затащил эту партию в квартиру к другу с женой — где-то же надо

50 было всё это сгрузить. Жрите, говорю, сколько хотите, продавайте, дарите на Пасху, на Рождество, на Женский день... Хотя — ну сколько можно сожрать шпротного паштета? Тем боле там иногда попадались глаза... Эх, какую книгу можно было бы написать! Бравый солдат Швейк отдыхает. Но когда я ручку беру, мысли останавливаются. Вот спроси у Нины, есть ли у них сейчас в продаже «Доктор Коккер»? — специи молотые из Израиля. Я о чём, сейчас объясню: вот, подогнал мне Бангладеш два вагона риса, чтобы я продал дешевле всех на десять процентов. Это револьверная поставка. Дают фуру в день, надо перефасовать, развести по базам и магазинам. Тут у меня почему-то и всплывает бравый солдат Швейк, хотя я книжку не читал. А что у него было там с револьверными поставками? Ничего не было?.. О! Понял, почему Швейк всё время всплывает: у его командира был большой револьвер — вот в чём суть!

— Что-то у меня башка разболелась, — сказал Аристарх Надежде. — Пойду наверх, пожалуй...

— Стой, стой! — крикнула она, блестя глазами. — Изюм, ну что за херню ты понёс про Кобзона, про Швейка, кому это интересно! В жопу твой майонезный цех. Ты лучше про армию, как золото намывал целыми днями и как тебя прапор, сука, грабанул. Ну-к, покажи ту доблестную статейку в газете, где вы сняты с ним в момент, когда он тебе только-только морду начистил, и вдруг к вам привезли корреспондента местной газеты, и вы оба застыли-вытянулись, а фотограф

вас шёлкнул с этими обалдевшими харями... Ну, где эта газета, что за бестолковщина! Давай армейский архив. Ты вообразить не в состоянии эту парочку на фотке! — завершила она Аристарха. — Сейчас слохнешь от хохота.

— Он не только меня ограбил, — заметил Изюм беззлобно, — он спиздил бункерный ксерокс. Ты знаешь, что такое бункерный ксерокс, Петровна? Он размером с твою веранду, и печатает тыщу плакатов в минуту. Кому нужно печатать «Родина-мать зовёт» с такой скоростью?

Газета «Пограничник Азербайджана», сложенная четверо, пожелтелая и уже махристая на сгибах, довольно быстро нашлась в серой папке, на которой рукой Изюма чёрным фломастером печатными буквами было начертано: «МолАдАсть».

— Вот, — с застарелой горечью произнёс Изюм, разворачивая статью во всю ширину листа. — Я тут, конечно, поименован не полностью, только инициалами — газетчик сказал, что такого мужского имени — Изюм Алмазович — не встречается в природе и что его военная цензура не пропустит. А прапор — ему что, таких имен, как у него, — мильён в каждой подворотне. Вот, пожалуйста, с полным уважением: Павел Викторович Матвеев. Мордоворот — стрёмно глядеть!

Изюм, усмехаясь, поднял глаза на Сашку и осёкся: тот стоял побелевший; такой белый, что на фоне стены его лицо казалось махом окрашенной кистью того же маляра. Он слегка попятился, будто хотел вырваться из чего-то душно зловонного, — даже Надежда отступила на шаг,



52 пропуская его, — развернулся и молча взбежал по лестнице наверх.

— Эт что с ним такое? — спросил Изюм. Она быстро проговорила:

— Живот прихватило. Бывает. Ничего.

Внезапная помертвевшая бледность Аристарха напугала её страшно. И напугала, и озадачила. Изюма надо было немедленно выпроваживать, а ему пока не укажешь на дверь прямым указательным пальцем, он никакого намёка не поймёт, деликатности не оценит, всегда лаптем за порог зацепится, договаривая свои неосуществлённые ноу-халяу.

— Видала, — сказал, мотнув головой в сторону лестницы, — какое впечатление на людей производит моя судьбина?

— Изю-ум... — тихо и значительно проговорила Надежда.

— Понял! — отозвался он заговорщицки. — Пора линять! — и на сей раз довольно быстро прибрал своё архивное хозяйство. Удалился без обычных комментариев, если не считать некоего странного замечания на пороге:

— Сегодня день, я заметил, не располагает к работать. Располагает к выпить. Ну, если не к выпить, то просто — к не работать. Так что ты его, — и голосом присел и глаза так значительно поднял к потолку, — не слишком к Альбертику гони...

Дверь в спальню была прикрыта, и Надежда подумала, что найдёт Аристарха лежащим на кровати, раскисшим, чем-то расстроеным. Ста-

нет выяснять — что стряслось, где болит... Вот уж она возьмётся за него по-серьёзному, прогонит сквозь строй самых дорогих врачей. Первым делом — анализы по полной шкале. Тоже мне, медик — а у самого-то, сам-то...

Нет, он стоял, отвернувшись к окну, будто продолжал любоваться крышами, серебристой полоской пруда за деревьями, альпийской горкой на ухоженном участке Надежды и безмятежными облаками, какие плывут над русской деревней исключительно в прозрачном июле. Будто, услышав её шаги, сейчас обернётся, облапит её...

Она подошла, обняла его за шею, прижалась виском к плечу.

— Видал, — сказала, — какие у меня рябины? Были прутики-дохляки, а сейчас красавицы. Через месяц развесят грозди, совсем как у нас...

Он молчал, и спина была каменной.

— Так что же, — тихо спросила она, — теперь вроде твоя очередь рассказывать?

— Не начинай... — попросил он сдавленным голосом. — Не разбивай наш первый день.

Внизу живота у неё стало пусто и холодно, как в последние минуты перед разбегом, перед тем как взлететь над обрывом.

— А что, такое страшное, что и не вымолвить? — спросила. — И думаешь, я буду ждать-гадать, что там — вилами по воде? Давай, парень, растолкуй мне: чего тебя сюда занесло, что за прихоть врача — в бригаде ханыг полы настилать? И что это тебя так пробило, когда Изюм ту фотку армейскую, с прапором... Тебе что там привиделось?

54 — ...Как грохнул я его — привиделось, — отозвался Аристарх. — Того бывшего прапора, Пашку-брательника. Как он лежал на земле, а брюхо ещё трепыхалось.

Обернулся к ней — мальчишка в рябиновом клине, — и всё закружилось и вспыхнуло в багряных брызгах тяжёлых гроздей. Она протянула руку, раскрыла кулак с вертлявой змейкой внутри, крикнула, хохотнув:

— Зырь! — и уже не могла отвести взгляда от этих синих-синих-синих глаз, что смотрели на неё со взрослой беззащитной верой, с какой отдавал он ей наперёд всю свою жизнь, чтобы она приняла эту жизнь и спасла её.

Он шевельнул губами:

— Я убийца, Надя! — проговорил глухо. — Я в розыске. И недолго нам осталось.

## Глава 2

### РЕМЕСЛО ОКАЯННОЕ

Первое оглушительное впечатление от новой страны: удар в грудь горячего, как из открытой печи, воздуха; жёсткий, как сварочная дуга, солнечный свет в глаза; тёмно-фиолетовые лезвия теней под белыми, до боли, стенами зданий и слепящая гармоника приоткрытых жалюзи на окнах. А ещё — вездесущий запах апельсинов.

Лёвка с Эдочкой осели в неприглядном Лоде, в двух шагах от аэропорта, окружённого плантациями цитрусовых. Снимали однокомнатный флигель с верандой во дворе у Нахума, водителя автобусной компании «Эгед». Бритоголовый бугай с бычьей шеей, Нахум был похож на чечена или какого-нибудь кабардинца, хотя фамилию носил Коэн. Когда его жена готовила *марак-ку-бэ*, странную похлёбку с плавающим внутри жареным пирожком, Нахум заносил кастрюльку жильцам; входил не стучась, руки были заняты, просто распахивал дверь ногой. Суп был острейшим и вкуснейшим. Нахум громко и отрывисто

56 говорил пару фраз на невозможном языке; Лёвка почему-то его понимал, смеялся в ответ и хлопал Нахума по могучему плечу, для чего поднимался на цыпочки.

— Говорит: «Мужчина может голодать, а женщина должна кормить ребёнка во чреве своём».

Тут явно имелась в виду Эдочка, в то время уже беременная первой девчонкой.

— Так и сказал: «во чреве своём»?

— Ну да. Это ихний басурманский язык такой.

Над халупой, как и над всей округой, со свистом распиливали небо неугомонные самолёты. Этот грохот и запах апельсинов составляли густой фон здешнего бытия, такой вот пряный *марак-кубэ*. Местные жители ни того, ни другого не замечали.

В первые недели, непроизвольно втягивая голову в плечи всякий раз, когда над его макушкой взлетал или шёл на посадку самолёт, Аристарх думал: как вообще здесь можно жить? Он и на уроках иврита спрашивал себя: как в обыденной жизни можно объясняться на языке, в котором «кит» — это «левиафан», а простенькое: «мне нравится» выражается фразой: «это находит милость в глазах моих»?

С годами оказалось: можно. Можно и жить, можно и говорить, и довольно быстро, запальчиво, с грубоватым юмором говорить, употребляя слова, которым на курсах тебя не учили. Можно орать, цедить через губу, в крайнем случае материться — если имеешь дело с упёртым бараном и у тебя просто не осталось аргументов.

Первые два месяца, самое трудное время, жил он у Лёвки с Эдочкой. Спал на веранде, больше негде было, да и не хотел стеснять молодых. Осень в том году выдалась непривычно жаркая, и бездонные ночи, сбрызнутые сиянием ярких созвездий, присыпанные красными огоньками идущих на посадку и взлетающих самолётов (которых через месяц он почти не замечал), приносили грустное утешение.

Лёвка готовился к экзамену и вкалывал как безумный, помимо санитарства в больнице прихватывая дежурства в доме престарелых. Спал часа по три и, столкнувшись со Стахом ночью в коридоре, по пути в туалет, пугал его красными, как у вурдалака, глазами. Со смехом рассказывал: полез вчера под кровать вытаскивать обронённые старичком очки и обратно не вылез, там и сомлел.

— А старичок? — ахала Эдочка.

— Старичок забыл и про меня, и про очки. Их Альцгеймер — моё отдохновение. А что: урвал полчаса, спал в мягкой пыли, как младенец в утробе. Когда хватились меня, старичку задницу мыть, — я и вылез на зов из-под кровати, с очками. «Ревизор», немая сцена. Стыдновато, но старичок так обрадовался, что подарил мне пятьдесят шекелей. За такие чаевые я брюхом вытру пыль на всех этажах нашего заведения.

Для начала Лёвка, друг сердечный, пристроил его к тем же старичкам, в ту же обитель благодного забытья. Опыт хороший: Аристарх научился там ворочать неподвижных пациентов, переносить их с кровати на кресло, грамотно распределить вес человеческого тела на руки, на спину, на

58 ноги. Научился делать массаж, быстро и опрятно мыть мятые стариковские ягодички. При этом часто вспоминал дядю Петю. Эх, думал, вот бы тому такое кресло. Не говоря уж о лекарствах, не говоря уж о памперсах — благороднейшем изобретении человечества!

Когда, протаранив, пробузив пещеристый известняковый язык, незаметно для себя выскочил на простор складных шуточек и не задумчивых ответов, когда в шершавом ветвистом клёкоте, к себе обращённом, стал различать сочувствие, презрение, добродушие и даже ласку — он стал открывать для себя и лица вокруг. Каждое утро, сбежав к почтовым ящикам, приносил почту заодно и соседу, безногому инвалиду ЦАХАЛа, неистощимому балагуру: «Да знал я, знал, что там заминировано, просто хотел успеть до пятницы в увольнительную». Всегда застревал на кассе в соседней лавке, покалякать с курчавой, как негритянка, продавщицей-марокканкой: «Я тебе про своё детство в палаточном лагере расскажу, ты заплачешь горькими слезами!» На чём свет она костерила «русских»: «Явились к нам на всё готовое!» — но в трудную минуту могла отпустить в долг под честное слово пачку сигарет.

Люди вокруг стали обрастать своей трудной жизнью, потерями, анекдотами и грубовато-непрошенной задушевностью, а улицы обрастали знакомыми адресами, дешёвыми лавками, прачечной, пока ненужной ему «Оптикой» и очень нужной фалафельной на углу, где за два шекеля можно перехватить питу между дежурствами.

Он снял недорогую квартиру в старом районе Лода, в двухэтажном, вусмерть зажитом доме, вызывающем о сносе. Две безлюбые клетушки размером с катафалк, наспех побелённые съехавшими жильцами, даже не притворялись уютными, — так старой шлюхе-алкоголичке уже плевать на дырку в чулке и пятно на блузке. Пятиметровая кухня шамкала висящими дверцами раздолбанных шкафов и воняла застарелой накипью сбежавшего молока на ржавой газовой плите. Душевая, явно встроенная позже, гремела твёрдой клеёнчатой занавеской шестидесятих годов. Унитаз, разумеется, присутствовал, но так стыдливо и кособоко приставленный к стене, что важнейшие минуты утреннего туалета можно было засчитать за упражнения на растяжку мышц. Эта берлога лелеяла ночные кошмары длинной череды неприкаянных безденежных жильцов, да и сам он, просыпаясь на надувном матрасе, брошенном под стену в пустой комнате, частенько спрашивал себя: «Что я тут делаю?»

Но депрессивное логово таило сюрприз, волшебное зёрнышко граната: узкий, как пенал перwokлашки, балкон выходил в густые кроны четырёх невероятно разросшихся фикусовых богатырей, и в перелётные месяцы на твёрдые лопасти их красноватых листьев прилетала семья зелёных до оторопи, нежно-изумрудных, переливчатых попугаев, картаво скандальных, скороговорчатых акробатов... Никого не боялись; когда Аристарх выходил на балкон — развесить на единственной протянутой проволоке выстиранное вручную бельё, — прыгали на перила, радостно вопя, и каза-



60 лось, в чём-то его убеждали, что-то доказывали: может, бросить всё к чёртовой матери и улететь с ними на Азорские острова?

\* \* \*

Какое-то время он работал подменным врачом — если, бывало, штатный доктор заболел или в отпуск ушёл; если на резервистскую службу врача призвали или, скажем, пришло время ей рожать.

Иногда подменял врачей в поликлинике бедуйнского городка Рахат. Тогда его смена совпадала с часами работы доктора Ибрагима.

Отпрыск богатой арабской семьи из Умм-эль-Фахма, тот был исполнен плавной важности, и при общем худощавом сложении слегка топырил холёное брюшко. Всегда благоухал дорогой туалетной водой, носил редкие по тем временам очки-хамелеоны и с подчёркнутым осуждением поглядывал на старые, ещё питерские джинсы доктора Бугрова. Впрочем, был умён и, бывало, удачно шутил: раза три на его замечания доктор Бугров одобрительно хохотал.

Однажды — дело было в конце марта, на склоне дня, — одновременно выглянув из своих кабинетов, они обнаружили, что оказались в пустой поликлинике вдвоём, если не считать старенького Меира в регистратуре. Редкий случай — ни одного пациента! Блаженные минут пять, десять...

«Попьём чаю?» — предложил Аристарх. Он всюду, в любом, даже временном, пристанище первым делом обустроивался со своим «чайным домиком» (наследие незабвенного Мусы Алиеви-

ча Бакшеева: всегда иметь при себе заварочную ёмкость, пару чашек и хороший «нормальный чёрный» чай).

Устроились на террасе; она выходила в пока-тые, медленные, как волны, травянистые холмы, сбрызнутые крапинами пылающих маков. Такой благодати весной выпадало недели три от силы, потом наваливалась жара, трава выгорала, небо казалось усталым и изнывающим от зноя.

Меира тоже позвали к чаю, но, человек старой закалки, тот считал, что в казённом медицинском учреждении оставлять без присмотра регистратуру нехорошо. Меир был человеком дисциплины, про себя говорил: «Я самолёты на себе держал, у меня ни один не разбился!» — всю жизнь он проработал диспетчером в аэропорту. Выйдя на пенсию, отыскал дело для души — трижды в неделю торчал в поликлинике, страшно надоедая пациентам. Он следил за порядком, строил больных, запуская их в кабинеты, и, кажется, в старой своей голове слегка уже путал людей с самолётами.

Аристарх привык, что такие вот старички-добровольцы приносят ежедневную и весьма ощутимую пользу во многих больницах, поликлиниках, библиотеках и клубах. Сначала думал, что это одинокие вдовцы-вдовицы, которым некуда себя деть от пустоты и скуки, но однажды обнаружил, что старушка, выкликающая из очереди больного, в прошлом была замминистра юстиции, что она — мать пятерых детей и бабушка двенадцати внуков. Просто здесь это было *принято*. А что дома делать, удивлённо ответила ему однажды такая вот старушка, тихо помирать?

62 — Ну, как чай?

— Я люблю кофе... — уклончиво заметил доктор Ибрагим. Ногти у него были изящные, продолговатые и, кажется, отполированные. Наверное, больным приятно, когда врач прикасается к ним такими ухоженными мягкими руками. — Это русский чай?

— Индийский. У меня тут и китайский есть. Заварить?

— Не надо, — торопливо отозвался тот.

Косые тени скатывались по склону вниз с кошачьей негой, трава отзывалась на легчайшее дуновение ветерка, а небо отсвечивало уже летней лавандовой синевой, от которой глаз не отвести, сидя в послеполуденной тени. Аристарх вытянул ноги, заложил руки за голову, откинулся на стуле и глубоко вдохнул воздух, свежий после вчерашнего дождя. Пробормотал:

— Тишина какая, простор... маки... Хорошо-то как. Правда хорошо, Ибрагим?

— Хорошо, — согласился тот. — Но, когда вас тут не было, ещё лучше было.

Доктор Бугров выпрямился на стуле, подобрал ноги, локти упёр в подлокотники. Не ожидал выпада; во всяком случае, не сейчас, не в этой благодати, не с чашкой душистого чая в руке. Хотя он уже разбирался в здешнем раскладе отношений, при подобном обороте беседы уже не уточнял оторопело «кого это — нас?», а научился быстро и жёстко отбивать ракеткой мяч; у него, как у хорошего спортсмена, были и свои приёмы, не всегда дозволенные.

Вообще, в подобных словесных баталиях доктор Бугров бывал прямолинеен и груб. Говорил

то, что думал, а думал порой вразрез с «обще-принятыми культурными кодами лучшей, либеральной части общества». Эти самые «коды» он в гробу видал и любил вынести академическую дискуссию на простор дворовой драки.

— И что тогда было у вас хорошего?— полюбопытствовал он, пока ещё с приветливым интересом. — Ваша поголовная неграмотность? Засухи, малярия, нищета? Голые скалы-пески-болота?

— Это взгляд пришлого человека, который судит всё и всех на свой высокомерный лад.

— Хорошо, — кротко отозвался Аристарх, — возможно, ты прав. Чужой уклад — потёмки. Может, твоей бабке даже нравилось, что из восемнадцати детей у неё выживали трое.

Он видел, как презрительно тонко улыбается в усики его собеседник, и понимал, чем тот манипулирует. Доктор Ибрагим привык иметь дело с представителями местного истеблишмента, а те с головы до ног были задрапированы в тогу «либеральных ценностей» и при первой же сигнальной ракете, как полковая лошадь при звуке трубы, принимались покаянно извиняться за своих дедушек-бабушек, слабогрудых мелитопольских и одесских гимназистов, которые, лет сто назад, в поту и в собственном дерьме, в липкой невыносимой жаре, посмели осушать здесь малярийные болота и сажать деревья и виноградники (впрочем, и постреливая при надобности; а надобность возникала частенько).

— Значит, так было нужно природе, — продолжал доктор Ибрагим с назидательной усмешкой. Маникюр он всё-таки прятал, опустив руки на колени. Чай его остывал в чашке: видимо, чело-

64    век действительно любит кофе. — Природа мудра, и мой народ из века в век жил по её законам, — продолжал он. — Что хорошего в том, что сейчас сохраняют жизнь всем убогим, носителям бракованных генов? Это всё ваша хлипкая мораль. Моя бабушка была готова к тому, что не всех детей ей оставит Всевышний. А мой дед...

— А твой дед, — подхватил Аристарх с той же приветливой лаской в голосе, — если не мог купить себе жену, просто трахал ишака.

Доктор Ибрагим завизжал и бросился на коллегу через стол, опрокидывая горячий чайник, чашки, сахарницу...

Они выкатились в коридор, расшибая друг друга о стены, наваливаясь и лягая один другого. Каждый помнил, что разбитая физиономия может иметь неприятные, далеко идущие судебные последствия.

Перед дверьми их кабинетов, вскочив со стульев, жались по углам два пациента, а ошалевший старенький Меир метался вокруг, не зная, с какой стороны подступиться к драке; это было труднее, чем выпускать самолёты на взлётную полосу. Перебегая от стенки к стенке, он всплёскивал руками и растерянно кричал:

— Доктора! Доктора! Позор! Позор!

\* \* \*

Упитанный голый человек отплясывал жигу на внутреннем тюремном дворе. Руки и ноги его развинченно болтались, он воздевал кулаки, как

грозящий небу пророк, приседал и подсакивал. Залитый светом фонаря бетонированный двор, как и тело голого плясуна, казался рябым из-за железной сетки-рабицы, натянутой поверху.

— Это кто? — спросил Аристарх, подходя к окну. Нет, не сон... Хотя минуту назад он ещё спал на узкой и высокой смотровой кушетке в своём кабинете. Едва заступив на должность тюремного врача, угодил в самую неприятную катавасию: массовую голодовку заключённых. Третьи сутки голодали террористы ХАМАСа, так что весь персонал, тем более медицинский, не покидал территории тюрьмы. — Кто это?

— Стоматолог финский, — отозвался фельдшер Боря Трусков. — Я его по заднице узнаю. Задница мясистая, как у бабы.

— Откуда здесь финский стоматолог, почему голым бегаёт? — буркнул доктор Бугров, массируя лицо, чтобы проснуться. — Он заключённый? Где охрана?

— Та нет, — нетерпеливо отмахнулся Боря. — Он стоматолог. Финский — это фамилия. Просто наш стоматолог.

— Не понял, — пробормотал Аристарх, следя за пируэтами голого.

Тот совершал наклоны и бег на месте, отрясал кисти рук, широко разводил колени в присядке, будто гопак отплясывал, и потряхивал тем, что поневоле потряхивается, когда ты пренебрегаешь трусами.

— Он мудак?

— Он мудак, — подтвердил Боря, — но не так, как ты понял. Он просто полотенец не любит,

66 говорит, на них всегда остаются бактерии. После душа вот так выбегает — на просушку.

— Ясно, — вздохнул Аристарх, обозревая тюремный двор, при лунном освещении ещё более дикий, чем днём.

— Ничего тебе не ясно, док, и ты даже приблизительно не представляешь, что это за мудака. Возьмём случай на недавнем корпоративе. Это в загородной промзоне, где несколько банкетных залов под одной крышей. «Жасмин» называется. У нас как: набьётся охрана за столы, а поликлиника всегда последняя, всегда затёрта. Вот ты увидишь. Сидим на задворках зала, пока начальство втирает нам про достижения и успехи. Мы ж не успеваем места занять: пока здесь приберёшь после рабочего дня, пока домой смотаешься приодеться... А Финский далеко живёт, в Иерусалиме, ему туда-сюда колесить не с руки. Мы и говорим: доктор Финский, ты нагрянь загодя, займи нам целый стол: на один стул ботинки поставь, на другой — портфель, на третий пиджак навесь... В общем, охрану близко не подпускай! Приходим, всё как обычно: зал — битком, места все заняты, народ уже на жратву налегает, одни мы, как сироты, в дверях торчим. Звоним: доктор Финский, ты где?! Где стол занял, не видим тебя? Он орет: «Идиоты, куда вы запропастились, я тут сижу, и мне скоро морду будут бить!» Как думаешь, где он сидел? В соседнем зале, где играли грузинскую свадьбу. Весь стол занял, как ему велели: на одном стуле — ботинки, на другом — пиджак, на третьем портфель, на четвёртом — не помню, трусы. Никого

не подпускает, и огромные носатые грузины уже нависают над ним, примериваясь, с какого боку его херачить...

Доктор Бугров, новый сотрудник службы Шабас, штатный врач тюрьмы «Маханэ Нимрод»<sup>1</sup>, смотрел, как в лунном рябеньком свете на тюремном дворе сучит ляжками голый стоматолог Финский, и, как частенько с ним бывало, старался различить в недавнем прошлом тот первый завиток безумия, из которого выросло развесистое чудо-дерево его здешней жизни.

\* \* \*

После драки в Рахате и дисциплинарного скандала несколько месяцев он работал врачом на военной базе «Эльоним»<sup>2</sup>.

В начале девяностых на страну рухнули двенадцать тысяч советских врачей, для которых в здешних клиниках рабочих мест не приготовили.

Увенчанные славой советские хирурги вкалывали в ординатуре, получая за это гроши, но всё равно радуясь, что работают по профессии, а не осматривают рюкзаки и дамские сумочки на входе в супермаркет. Так что непыльную работёнку на военной базе можно было считать синекурой.

Здесь проходили платный курс начальной боевой подготовки сынки богатых родителей со всего мира; три недели этой потной романтики приносили государству Израиль весьма недурную прибыль.

---

<sup>1</sup> Стан Нимрода.

<sup>2</sup> «Высоты».



68        Записывались на лютую солдатскую муштру с разными целями: либо оболтус рвался хлебнуть настоящей мужской жизни; либо отчаявшиеся родители привозили шалопая, чтобы тому «вправили мозги»; но чаще всего юные энтузиасты приезжали «поддержать Израиль... и вообще!» — чтобы, лет через десять на адвокатской *пати* вокруг бассейна, в богатом пригороде Сан-Франциско, небрежно обронить перед тамошними тёлками: «...Это было в тот год, когда я проходил курс молодого бойца в одной из лучших армий мира».

Занятное было местечко...

Командир военной базы, одышливый толстяк с застарелой астмой и апоплексическим румянцем, болел всеми болезнями, кроме родильной горячки. Рабочий день доктора Бугрова начинался и заканчивался в его кабинете измерением давления.

Зато замкомандира, гончий голенастый бедуин Али Абдалла Бадави (доктор Бугров, известный своим *шовинизмом*, именовал его «Али-об-стулзадом-бей»), свою воинственную жилку подчёркивал всюду, где только возможно, неукоснительно надевая парадный берет бойца спецназа даже перед вечерней молитвой.

Английского он не знал, а в святом языке особенно чтил и чаще всего использовал два понятия: «бен зона́»<sup>1</sup> и «таханá меркази́т»<sup>2</sup> — этого вполне хватало для общения с курсантами («Не подберешь сопли, сукин сын, живо отвезём тебя на станцию — и лети в свой Балтимор!»).

---

<sup>1</sup> Сукин сын (*иврит*).

<sup>2</sup> Центральная станция (*иврит*).

Справедливости ради, инструкторы гоняли этих привилегированных цуциков нещадно, без малейших сантиментов, сапогом в жопу. Боевая подготовка была настоящая, без поблажек и без балды: ребята сполна отработывали папашины вложения (стоил-то курс немало, кусков пять, причём не шкалей цитрусовых, а жёстких зелёных денег).

По окончании курса на торжественную церемонию приезжали довольные папы, заключали в объятия своих чад, возмужалых и облупленных под злым левантийским солнцем. Один такой миллионер из Хьюстона приехал в сомбреро — может, спутал наши палестины с Мексикой. Ходил по казармам, всюду нос восторженный совал, цеплялся полями сомбреро за дверные косяки, страшно был доволен таким вот классным «настоящим летним лагерем»: сын выглядел по-хорошему ободранным, жилистым и отчаянным.

На прощальном вечере тощее чадо, измордованное инструкторами, поднялось и («Вот же сукин сын!» — восхищённо заметил Али Абдалла) громко, во всеуслышание, объявило: никуда я, папа, не еду, остаюсь я, папа, в армии.

Подобное случалось, между прочим, не так уж и редко: было что-то цепляющее в грубоватой здешней жизни, в горластых простых людях, что покоряло сердца наследников упитанных американских состояний. Бывало и так, что они уезжали, но... возвращались спустя год, затосковав по воплям Али Абдаллы, по пинкам и оскорблениям безжалостных инструкторов.

70        Зато доктор Бугров, наблюдавший здешнюю сердечность сквозь вечный свой прищур, уже волком выл в полном отсутствии практики среди юной компании загорелых бугаёв.

*Нежность давалась ему куда труднее и только в те дни, к сожалению редкие, когда он вырывался в Лёвкину семью, где росли три грибка, три дочки-погодки с местными именами: Шарон, Шайли, Яэль, с местными бойкими повадками, с привычным ожиданием подарков от «Стахи», — такую смешную кличку он у них носил, как нянька какая-нибудь или престарелая домработница. Три девчонки с хрустким «р» на юрком кончике вертлявого язычка, — как выбегали они к нему навстречу, сияя кудрявыми гривками!*

*Три смешные рыженькие пигалицы, — те самые, что должны были расти у него с Дылдой, да не случилось.*

\* \* \*

Работал в медпункте той военной базы фельдшер, Офир Кон его звали, — из бывших тюремных охранников. Он-то и присоветовал однажды...

Они сидели в *кантине*, цедили холодное пиво из банок.

Странно, думал Аристарх, что это итальяно-испанское словцо застряло именно в армейском сленге, и на любых военных базах подобные одноэтажные сараюшки при входе — нелепый симбиоз ларька с придорожной кофейней — назывались *кантинами*. Здесь стоял автомат с холодным пойлом, другой автомат, выстреливающий тебе

в физиономию пакетиком с ржавыми чипсами; кофейная машина, три пластиковых стола со стульями и два дивана времён британского мандата с продранной обивкой. Июль, середина дня, старый кондиционер одышливо гонит переработанную жарь наружного воздуха, вот-вот окончательно сдохнет! — доктор Бугров жаловался на скуку и осточертелую ряху начбазы, трясущийся бицепс которого в манжете тонометра снится ему в ночных кошмарах. Офир отхлебнул пива и сказал:

— А не податься ли тебе в Шабас, Ари?

— Тюрьмы?! — уточнил тот и усмехнулся: — Вот только их в моей биографии ещё не было.

— А чего ты рожу кривишь, — отозвался Офир. — Служба безопасности тюрем — контора, между прочим, государственная: хорошая зарплата, приличная пенсия. Опять же: статус постоянного работника со всеми вытекающими социальными надбавками. Ну и форма, звание: ты — врач, начинаешь с майора.

Офир поднялся с продавленного дивана, выщелкнул из автомата ещё одну банку пива, поддел пальцем крышечку и прицелился ею в открытое мусорное ведро, бросил щелчком, попал! — и плюхнулся рядом с Аристархом:

— Ты что, дружище! Зря носом крутишь. Это, знаешь, особый мир, со своими законами, историей, своим эпосом... У нас там есть потомственные надзиратели: папа охранником был, дядя, даже дедушка. Мощные кланы! «Грузин» много. Они ещё в начале семидесятых попали в Шабас. Знаешь, как это получилось? Сидела лет пятьдесят назад компания «грузин» на *Тахане мерказит*

72 в Ашдоде, пили кофе... Проезжала мимо полицейская машина, вышел из неё офицер в форме, подошёл и спрашивает: «Мужики, кто хочет служить в тюрьме — условия хорошие?» — «А что делать надо?» — спрашивают. «Да ничего, ключи на пальце вертеть. Сидеть, кофе пить. Если заключённый возбужает — палкой его по башке». — «А, хорошо, это нам подходит». И вся компания поднялась и, как грачи, разом перелетели на новое место обитания.

Доктор Бугров расхохотался. Представил картину: хитрюгу-офицера, шумную компанию «грузин», своеобразный тбилиско-батумский клуб за колченогими пластиковыми столиками на автостанции. К тому времени он встречал немало грузинских евреев: люди были в основном торговые, незамысловатые, но симпатичные.

— К тому же там-то как раз не скучно, — добавил Офир многозначительно.

Был он человеком лукавым, шутил без малейшего намёка на улыбку; да у него и шрам был застарелый через обе губы, ещё со времен Первой Ливанской войны, не больно-то улыбнёшься. Но всей глубины этой лукавой многозначительности доктор Бугров тогда прочувствовать не мог. Прочувствовал позже. И в полной мере.

\* \* \*

Фамилия начмеда, его непосредственного начальника, была Безбога. Михаэль, понимаешь ли, Безбога. Когда Аристарх взялся растолковать ему смысл этой фамилии, тот подмигнул и сказал: